

An abstract painting in a vibrant, expressive style. The background is a mix of bold colors: red, green, and blue. In the center, a dark, shadowed bottle stands on a surface. To the left, a textured, golden-brown object, possibly a bottle or a piece of pottery, is visible. In the foreground, a plate is filled with numerous small, colorful, rounded objects in shades of red, orange, yellow, and green. The overall composition is dynamic and colorful.

ДЖАВИД АЛАКБАРЛИ

*ЭМ*  
*и мса*

16+

# Джавид Алакбарли

## Ёж и лиса

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=67564665](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67564665)*

*SelfPub; 2022*

### **Аннотация**

Вся эта повесть выстроена вокруг диалога двух великих людей: выдающегося мыслителя и великой поэтессы ушедшего века. Не дошедшая до наших дней басня о противостоянии ежа и лисы предстаёт в этой повести как весьма неординарный взгляд на весь литературный процесс. Извечное же противостояние тирана и поэта разворачивается в абсолютно новых обстоятельствах, когда этим поэтом является женщина. Эти двое угадываются сразу. Не произнесено ни единого имени, но очевидно, что авторами столь непростых диалогов, являются один из ярких мыслителей XX века – Исая Берлин и великая поэтесса Анна Ахматова.

# Джавид Алакбарли

## Ёж и лиса

Первая же его фраза была настолько неожиданной, что просто ошеломила её.

– Собственно говоря, мы так и описываем вас. Как Сафо. Сафо современности.

Как хранительницу языка. Великого языка.

Всё это было сказано на чистейшем русском языке. Практически без акцента. Сказать, что она была удивлена, это значит просто ничего не сказать. Ведь с ней же договаривались о встрече с английским литератором. На всякий случай она даже пригласила переводчицу, не слишком надеясь на свой разговорный английский. Но её гость явно не нуждался в каких либо посредниках для того, чтобы общаться с нею.

Во всём, что он говорил, поневоле поражала высочайшая культура его речи и незаурядный интеллект. Все это отражалось не только в его остром, пронзительном взгляде, но и в каждом из произнесённых им слов. Оказавшийся на пороге ленинградской коммуналки, этот удивительный человек воспринимался как абсолютно нереальное существо внутри всего этого предельно убогого пространства. Едва войдя в их прихожую, он начал тут же сыпать откровениями. Все они шокировали, будоражили воображение, взрывали все стереотипы и казались абсолютно неуместными. Неуместными

именно здесь и сейчас.

– Я знаю, что Вы ненавидите слово «поэтесса». Поэтессы пишут стишки в альбомы подружек. Вы же просто Поэт. Настоящий Поэт. Наверное, всё же поэт номер один в сегодняшней России. Без скидки на что-либо. В том числе и на пол. Хотя, видимо, я говорю глупости. Конечно же, Вы, прежде всего, Великая Женщина. Женщина, которая смогла озвучить в своей поэзии чувства и эмоции миллионов других женщин. Всё то, о чём они думают. Всё то, что они чувствуют. Всё то, что они любят и ненавидят. Вы смогли всё это перевести на язык высокой поэзии. Именно поэтому ещё в начале этого века Вы смогли стать кумиром для целого поколения. Как женщин, так и мужчин.

Всё в Вас, начиная с внешнего облика и кончая предельной искренностью Вашей поэзии, вызывало у них безграничное восхищение. Они знали наизусть каждую Вашу строчку. Один раз окунувшись в море Ваших стихов, они оставались на всю жизнь Вашими поклонниками. Прекрасно осознавая всё это, я просто склоняю голову перед величием Вашей личности. Какой же я счастливый человек! Я всё-таки смог увидеть Вас! И даже удостоился чести высказать Вам всё это лично.

Она пыталась ему отвечать. А ещё хотела выбраться из той засасывающей её воронки растерянности, в которую она была ввергнута фантастическими комплиментами этого английского литератора. Вначале ей чудился и в его словах, и

в его поведении, и даже в самом факте его появления в этом доме какой-то скрытый подвох. Ну, не может англичанин так говорить по-русски. Да ещё так профессионально разбираться в русской литературе. Так не бывает. Как и не бывает того, что вдруг в тусклых декорациях унылого ленинградского быта появляется одетый с иголки человек, настолько хорошо знакомый со всем тем, что она пыталась делать в этой жизни. Всё это происходило вопреки всему и вся. А это означало для неё лишь одно: этого просто не может быть. Не должно быть. Но это было.

Вплоть до этого момента она была искренне убеждена, что всё то, что когда-то её волновало, давно кануло в лету. Отразившись лишь в её стихах. Это был тот самый случай, когда образ в зазеркалье живёт просто сам по себе. Живёт, даже не догадываясь о том, что всё то, что это зеркало когда-то отражало, давным-давно превратилось лишь в пыль воспоминаний. Именно поэтому ей вдруг стало неловко от одной мысли о том, что перед ней сидит человек, который чётко осознаёт всё то, что скрывалось за всеми этими её поэтическими строками. В деталях и подробностях. Осознаёт сполна. Во всех нюансах чувств и эмоций.

– А знаете ли Вы, что много лет тому назад было принято «постановление» о том, чтобы запретить мне писать стихи? Пока я не исправлюсь. Это было решение собрания под весьма странным названием «Чистка современной поэзии». Они отвели на моё «перевоспитание» три года. Тогда они и пред-

ставить себе не могли, на сколько же лет я замолчу. Но и не перевоспитаюсь. Вопреки всему тому, что они потребовали от меня. Меня тогда противопоставляли тому Поэту-трибуну, который и организовал это собрание.

Говорили, что мы символизируем собой две противоборствующие силы. Договорились даже до того, что я якобы являюсь символом уходящей дворянской России, а он – России, за которой будущее. А ещё потом, на вполне официальном уровне, было принято решение о том, чтобы меня не печатать. Не репрессировать, не арестовывать, но и не печатать. И всё, что я тогда хранила в своей душе, мне так и не удалось высказать. Даже то, что всё же смогла излить на бумаге, было растеряно во всей этой чехарде переселений и переездов.

Теперь всё это вызывает у меня просто улыбку. Может быть потому, что я перестала ценить славу?

Сейчас, вспоминая всё это, я думаю лишь о том, что это было бы очень смешно, если бы не было настолько ужасно и печально. Как же можно что-то запретить или разрешить поэту в его творчестве? Тогда мне этого не дано было понять. Непонятно мне это и сегодня.

Почему-то этот её спонтанный монолог вызвал у него очень странную реакцию.

– Какой ужас! Какой позор! Я даже не мог себе представить, что что-то подобное может происходить с Вами. Думал,

что это чьи-то измышления. Оказалось, что всё это правда. Как же Вы всё это вынесли?

Она пыталась что-то объяснить. Конечно же, настолько, насколько это вообще было возможно. А потом он вновь и вновь задавал ей множество вопросов. Разных и всяких. Она отвечала. В конце концов, уже выйдя из состояния оцепенения, она тоже стала о чём-то его спрашивать. Ведь оказалось, что и у неё было немало вопросов. Он им радовался как ребёнок. Хотел всё объяснить и разъяснить. Прояснить какие-то моменты как в своём прошлом, так и в феномене своего появления в послевоенном Ленинграде. Тоже в деталях и подробностях. Тут всплыло и его рижское детство, и причины давней, искренней, безоговорочной влюблённости в русскую литературу, и корни столь поразительной информированности о её творчестве.

– Согласен с Вами, что у Поэта нет пола. Вернее, он есть. Всегда есть. Но он никак не связан с критериями оценки уровня его творчества. Пытаясь понять всё то, что вы сделали в литературе, надо просто констатировать факт того, что Вы как поэт, безусловно, обогатили всю мировую культуру. Независимо от того, кто и как воспринимает Вашу личность и Ваше творчество. Именно с Вашей помощью в современном мире женщины, наконец-таки, смогли сказать своё слово. Веское слово. В ваших стихах они смогли выразить всё то, что их действительно тревожит. Но и здесь Вы, наверное, всё же исключение из любых правил. Всё то, что Вы пишете,

и как это Вы делаете, создаёт абсолютно новую поэтическую вселенную. Этого ещё не было в русской литературе. А я её очень хорошо знаю. Уж поверьте мне на слово.

От пафосности этих слов ей сразу же стало не очень комфортно. Появилась незамедлительная потребность срочно опуститься в кресло. Ну, по крайней мере, хотя бы на стул. Обрести всё же какую-то точку опоры. А ещё надо было выбираться из этой ужасной прихожей. Где-то сесть и постараться избавиться от этого ужасного головокружения. Тогда она ещё не предполагала, что от этого человека у неё ещё не раз будет кружиться голова в течение всей этой встречи. Как же в эту минуту она жалела, что не послушалась совета и осталась в своём, столь удобном и уютном, домашнем одеянии. Ради такого человека можно было бы и переодеться. Она тут же прогнала эту чисто женскую мысль, абсолютно неуместную в столь мастерски складывающемся интеллектуальном поединке.

А дальше началось пиршество духа. Они говорили о вечных сюжетах творчества, окружённых столь же вечными тайнами. О том волшебном кружеве поэтического пространства, которое в состоянии связать прошлое, настоящее и будущее. Всё то, что было, что есть и то, что будет. Поражались тому, что культурная ткань, сотканная веками, не знает никаких границ и преград. И даже способна на то, чтобы растворить в себе время, языковые и культурные различия. Очень подробно и чисто профессионально затрагивали про-



блемы перевода стихов с одного языка на другой. Сокрушались по поводу того, что всю глубину и тонкость её поэзии, к сожалению, невозможно отразить ни на каком другом языке. Да, мало ли ещё о чём говорили. Она уже ничему не удивлялась. Просто окунулась с головой в этот поразительный по своей сути и форме диалог.

Её собеседник был таким разным и всяким. С одной стороны он, конечно же, исполнял роль некоего интеллектуального провокатора. Затевал разговор на какую-то тему, цеплял её, казалось бы, неуместными вопросами и ждал реакции. Именно эта реакция и была интересна ему. Дождавшись её, он делал следующий ход. Так, шаг за шагом, слово за словом, стих за стихом и разыгрывалась эта партия игры. Слова здесь были фигурами, а правила игры эти двое создавали по ходу того, как разворачивалось сражение.

А с другой стороны, во всём этом было что-то изначально неправильное. Нечто такое, что ощущалось как терпкое хорошее вино, которое она так любила и в то же время так не любила. Оно прекрасно пилось, кружило голову, но почему-то, в конечном итоге, всегда вызывало у неё ужасную изжогу. Именно поэтому она и предпочитала водку. Что-то ей подсказывало, что послевкусие этого разговора будет гораздо более опасным, чем простая изжога. Но всё же эта беседа дарила ей очень многое. То, чего она так долго и давно была лишена. Прежде всего, конечно же, ей было чрезвычайно лестно, что её собеседник называл её подлинной наследни-

цей «солнца русской поэзии». Как же ей приятно было это слышать. Даже если это была просто лесть, то она была чрезвычайно изысканной. Таких слов ей никто и никогда не говорил. Тут было от чего потерять голову.

У неё всегда была фантастическая память на стихи, лица, даты, факты. В недрах своей памяти всё то время, что они общались, она судорожно пыталась найти хоть какой-то след или отголосок того, что личность, подобная ему, когда-то ей встречалась в прошлом. Память молчала. Именно это молчание и подсказывало ей, что всё-таки стоит как-то назвать своего гостя. Обозначить этот феномен. А потом уже попытаться раскрыть его сущность. Спустя годы в её стихах он станет для неё чётко обозначенным персонажем. Но уже сейчас, про себя, она решила называть его просто Гостем.

Когда-то, в юности, влюбленного в неё прекрасного художника поразила её способность угадывать чужие мысли, заглядывать в сны близких ей людей и отчётливо предчувствовать многое из того, что ещё не успело стать реальностью. Но в присутствии этого литератора все её столь необычные способности куда-то исчезли. Испарились. От всего этого ей сразу же стало как-то не очень уютно.

А он тем временем говорил о том, что в литературе поэтический голос всегда является носителем подлинной сексуальности. О том, что она является той единственной, которая оказалась способной овладеть в XX веке голосом истинной поэзии. Той поэзии, которая всегда считалась сугу-

бо мужским делом. Ведь на протяжении многих веков женщина, по существу, была лишена языка. А вместо неё всегда говорил мужчина. И независимо от того, был ли он поэтом или прозаиком, говорил только он. Говорил всё то, что хотел сказать. И так, как хотел. А ещё он рассказывал всем, в том числе и женщинам, о том, каковы же они на самом деле. По своей сути, по своему содержанию, по своему предназначению.

При этом, конечно же, мужчина представлял женщину такой, какой она ему виделась. Или же такой, какой ему хотелось бы её видеть. В результате она и должна была стать тем, чего хотел он. Разной и всякой. Но, прежде всего, она представлялась окружающему миру как постоянный и неизменный объект мужского внимания. И мужской фантазии. Фантазии богатой на разные всякие домыслы и измышления. Фантазии безграничной, а порой даже безрассудной.

По мере того, как он говорил, она поневоле вспоминала о том, что звонивший ей с утра представитель Союза писателей сказал, что хочет познакомить её с английским литератором. Ну, какой же он английский литератор? Рядом с ней находился человек, насквозь пронизанный русской культурой. И знающий её так, в таких её проявлениях, с такой степенью проникновения в её суть, какую невозможно уже встретить даже в самой России. В сегодняшней России. А ещё этот представитель утверждал, что случайно встретил англичанина в книжном магазине на Невском. И тот якобы сам задал

ему вопрос, преисполненный подлинного интереса:

– А вы не знаете, жива ли ещё та прекрасная женщина-поэт...

– Да, конечно, жива. Да, и живёт она недалеко отсюда, на Фонтанке. Во флигеле Фонтанного дома. Хотите встретиться с ней?

– Очень хочу.

Тогда этот представитель прямо из книжного магазина начал звонить к ней домой. Назначил встречу. Он и сейчас пришёл вместе с этим литератором и вслушивался в каждое их слово. Но разве могут просто так, без высочайшего на то разрешения, появляться в её убогом жилище такие люди, как этот англичанин? Вопросы были. Не было ответов. Молчала, поражённая, видимо, всем происходящим, и её хвалёная интуиция. А ведь именно она должна была врубить сигнал о той высшей опасности, которую может вызвать к жизни этот странный визит.

По мере того, как разворачивался этот удивительный диалог, её завораживало, поражало и удивляло то, что он не произнёс ни единой фразы, в которой так или иначе не содержался бы скрытый или явный комплимент в её адрес. А ей так давно их не говорили. Не женских комплиментов. А тех, которыми украшают свои статьи и выступления те, кто называет себя исследователями, учёными или же литераторами. Он не просто анализировал её поэзию. Он препарировал её, не убивая при этом её душу. Она и мечтать не могла о том,

что где-то, в этом подлунном мире, может существовать человек, который столь хорошо разбирается в её творчестве. Она, уже почти привыкшая к тому, что на неё, равно как и на всё написанное ею, постоянно клеветают, была просто уничтожена абсолютно невиданным ею ранее, почти благоговейным отношением к себе. И как к личности, и как к поэту.

Он говорил о том, что она прошла удивительный путь от царскосельской грешницы до поэта, сумевшего выразить всю трагедию народа, обречённого на существование в тоталитарном государстве. При этом он утверждал, что она умеет быть потрясающе народной. Без фальши. Суровой простотой и бесценной скупостью речи. Достаточно лишь вспомнить два её стиха. Один она написала в Первую мировую войну. Другой – во Вторую. Оба они просто хрестоматийны. Удивлялся и поражался тому, как легко она преодолела пропасть, лежащую между своей любовной лирикой и стихами, превратившими её в национального поэта. Яркие переживания влюбленной девушки и безграничная трагедия всех тех женщин, кто потерял в одночасье всё самое дорогое для них, образовали в её творчестве какой-то невиданный ранее сплав чувств и эмоций.

А ещё он касался вопросов психологического богатства русского романа девятнадцатого века. И говорил о том, что созданная ею поэтическая форма, отражает в себе всю сложность и изысканность этой прозы, успевшей стать признанной во всём мире визитной карточкой русской культуры.

– Безусловно, я согласен со всеми теми, кто считает, что Вашей поэзии не было бы, не будь в русской литературы «Анны Карениной», «Дворянского гнезда», «Преступления и наказания»... Именно поэтому Вы и являетесь живым олицетворением всего того, что было в русской культуре девятнадцатого века. И это же предопределяет то, как Ваше творчество отражается в сердцах и душах Ваших современников. Именно поэтому оно способно утешить их сегодня. И дать им всем надежду на день завтрашний. На будущее.

Потом, спустя годы, будут много писать и говорить об этой встрече. Будет там достаточно и вымысла, и простой клеветы. И совсем мало правды. Корни всего этого будут скрыты в том, что уже в самые первые дни после того, как в её пристанище явился Гость, по городу начнёт ходить множество самых нелепых слухов. Может быть, они возникнут случайно, а может быть, они будут искусственно запущены соответствующими структурами. Только ленивые не станут комментировать, якобы, абсолютно точную информацию о том, что в Ленинград приехала целая иностранная делегация, которая должна убедить её уехать из России. Почти как бесспорную правду будут распространять и весть о том, что за ней собираются прислать специальный самолёт и вывезти её в Англию.

А ещё много будут говорить о том, что не было никакой нужды подсылать к ней кого-то из Союза писателей. Её Гостя достаточно было просто привести к ней. А уже после того,

как он переступит порог этой квартиры, каждая минута его пребывания здесь подпадала под контроль спецслужб. Видимо, только она не подозревала о том, что у неё дома было установлено специальное записывающее устройство. Но, оказывается, об этом знало немало народу. Конечно же, во многом оно было несовершенно, да, к тому же, у него был не очень большой радиус действия. Но она же ведь даже не догадывалась об этом. Так же как и о том, что многие из входящих в её ближний круг добросовестно строчили на неё доносы. Просто выполняли свою рутинную работу как сексоты. Точно так же, как это и сделала, в конце концов, эта женщина, которую она пригласила как переводчика.

Они говорили уже больше часа, как вдруг во дворе раздался истошный крик. Кричал высокий, статный, хорошо одетый человек, абсолютно не вписывающийся в реалии послевоенного Ленинграда. Не нужно было быть разведчиком или контрразведчиком, чтобы сразу понять, что это иностранец. Им пришлось открыть окно. Этот человек во дворе звал её гостя. Выкрикивал его имя. Прокричав его несколько раз, он пытался ещё что-то объяснить. Непонятно кому и зачем. Её знакомая, приглашённая как переводчик, вдруг залилась безудержным смехом и начала объяснять суть воплей этого странного человека.

– Это приятель нашего гостя. Он утверждает, что ему срочно надо помочь. Он очень дёшево купил чёрную икру и боится, что она испортится. Кричит, что если наш гость

не спустится и не поможет ему найти холодильник для этой икры, то её придётся выбросить. Объясняет, что помочь ему может только он. Его же здесь все обожают. Даже горничные в отеле.

Англичанин пожал плечами, не зная, как ему комментировать эту почти комическую ситуацию. Тогда он ещё не представлял себе, что это был всего лишь пролог к настоящей пьесе театра абсурда. Этот крик следовало немедленно прервать. Надо было идти. Уже на пороге он полушёпотом спросил у неё.

– А можно я вернусь? Позже.

Она примерно в той же тональности отвечала ему:

– Приходите. Вечером. Я буду ждать.

А театр абсурда, начавшийся во дворе с истошного ора, всё ещё продолжался. Гость захотел познакомиться своего переставшего, наконец-таки, кричать коллегу с представителем Союза писателей. Сначала он произнёс его имя и фамилию, а потом разъяснил, чей же это сын. Услышав имя знаменитого политика и поняв, с кем его собираются знакомить, человек из Союза писателей сначала побелел. Потом покраснел. Затем вновь побелел, спрятал руки в карманы и исчез. Англичанин ещё никогда не видел, чтобы люди в такой тяжёлой одежде умели так быстро бегать. Удивился. Хотел было позвать убегающего, может быть, даже догнать того, но коллега уже упорно тащил его в гостиницу.



\*\*\*

Представитель Союза писателей в тот же день написал отчёт. В соответствующие инстанции, конечно. Писал он о том, как, якобы, случайно, как и было ему поручено, встретился в книжном магазине с англичанином. Тот проходил у них под кодовым именем «Сэр». Как сумел разговорить его. Каким образом предложил ему зайти в гости к Женщине-поэту, которую он обозначил в своём отчёте как «Мадам». Подробно описал всё то, о чём разговаривали эти двое. Изложил свои комментарии по поводу всего того, что обсуждалось в этот дождливый день в той ужасной коммуналке.

Не написал он лишь две вещи. Первая из них была связана с тем фактом, что его хотели познакомить с сыном великого английского политика. Он сам себе сумел внушить, что этой встречи во дворе, а уж тем более попытки знакомства, не было вообще. Одно дело было пообщаться с этим англичанином, который был дипломатом, официальным сотрудником посольства и представить его Мадам как просто-го литератора. Другое дело было признаться в том, что он сам, без получения соответствующего разрешения, познакомился с представителем одной из самых известных в мире английских семей. Он даже боялся себе представить, каковы же могли быть последствия такого необдуманного шага.

Он прекрасно понимал, что это политика не его уровня и лучше стереть из памяти сам факт существования такой по-

пытки. А ещё он не написал о том, что Мадам и Сэр договорились ещё раз встретиться. Но здесь причина была несколько иная. Этого он уже просто не расслышал. Видимо у него был не такой тонкий слух, чтобы расслышать эту достигнувшую договорённость о встрече, которая была назначена на вечер.

В глубине души он считал, что блестяще выполнил своё задание. Ведь информация о том, что англичане привезли в Россию в качестве дипломата человека, прекрасно знающего русскую культуру, очень насторожила всех в их ведомстве. Всё свидетельствовало о том, что на Западе пытаются понять настроения творческой интеллигенции в Советском Союзе. Их интересовало всё. Но не в опосредованных рассказах, а из первых уст.

Гость был идеальной кандидатурой для внедрения в литературную среду. И дело было не только в его познаниях в области русского языка и литературы. Политическая элита Лондона воспринимала его как интеллектуала, способного придать особую утончённость всему и вся. Независимо от того, была ли это пикировка в английском парламенте или частная беседа политиков любого ранга. Именно поэтому он мог не только выяснить всё то, что по-настоящему волновало поэтов и писателей в Москве и Ленинграде, но и довести эту информацию до тех, кто вершит судьбы мира. Эта задача и предопределяла его программу, заключающуюся в том, чтобы встретиться с ключевыми фигурами и найти ответы

на самые злободневные вопросы:

– Что думают?

– Что пишут?

– Как оценивают обстановку в послевоенной стране?

Дипломаты всех рангов из различных стран докладывали советскому руководству о том, что симпатии к СССР растут день ото дня. Победа над фашизмом создала вокруг страны некий ареол героизма и мужественности. Сегодня даже самый яркий их противник, получивший в Париже статус великого русского философа, уже принялся за то, чтобы разъяснить всем истоки и смысл русского коммунизма. Всеми признаётся факт того, что постоянно повышается влияние и авторитет европейских коммунистических партий. А тут вдруг такой казус. Всё это представлялось весьма странным и непонятным. Что же всё же пытается выяснить этот засланный англичанин?

Было известно, что Сэр уже встречался в Москве с другим известным поэтом, который проходил у них под именем Лауреат. Но за него все были спокойны. Он всегда говорил именно то, что нужно. Кстати, все знали, что Лауреата и обительницу Фонтанного дома связывают очень непростые отношения. Когда-то он был влюблён в неё, но ответных чувств так и не добился. Дважды звал замуж. При живой жене. При жене, которую он с таким трудом увёл от знаменитого мужа. Но эта женщина-поэт оказалась абсолютно равнодушной к нему. Как к мужчине. Но достаточно высоко ценила его как

поэта. Вот так и сложились их совершенно нестандартные взаимоотношения. Все были в курсе того, что, когда ему было очень плохо, он всегда приезжал из Москвы в Ленинград к ней, своему вечному собеседнику.

Ему было необходимо в эти минуты видеть её, говорить с ней, чувствовать её реакцию на всё то, что он ей рассказывает. И это абсолютно не зависело от того, испытывал ли он депрессию, был ли погружён в новую влюблённость или страдал от творческого кризиса. У него была абсолютно непонятная, даже ему самому, потребность выговориться именно перед ней. А потом он просто мог расстелить своё пальто на полу рядом с её кроватью, сложиться калачиком и уснуть. Как правило, наутро за ним приезжала жена. Благодарила за то, что приютили, успокоили, напоили чаем, не дали замёрзнуть на улице. Сухо высказав все слова благодарности, она забирала его и увозила обратно. В Москву. Не переставала удивляться тому, что его влечёт в эту ужасную коммуналку. Ведь для него дом всегда был вторым «я». А вся эта обстановка здесь, в Ленинграде, кричала о бездомности.

Эта жена всегда боялась людей, которые могут повредить репутации её мужа. А ещё она гордилась тем, что Лауреат был, практически, самым обласканным властью поэтом. Имея кучу родственников, живущих в Великобритании, он так и не подвергся никаким репрессиям. А ещё жена не раз с ужасом вспоминала знаменитый разговор своего мужа по телефону с Самым-Самым-Самым. Он касался творчества

Опального поэта, который так и закончил свои дни в ссылке. Последнюю фразу этого разговора её муж повторил несколько раз после того, как на другом конце провода положили трубку. Да и потом он не единожды вспоминал об этом. Фраза же была просто убийственной.

– Если бы этот поэт был бы моим другом, я бы защищал его более убедительно, чем это делаете вы.

За Лауреата власть была спокойна. Он всегда делал и говорил то, что требовалось. Кто же знал, что эта покорность будет длиться ровно столько, сколько у власти будет пребывать этот Самый-Самый-Самый. А вот что способна наговорить иностранцу Мадам, бывший муж которой расстрелян, а сын, отсидев в лагерях, доблестно сражался потом на фронте и брал Берлин, было неясно.

Представитель Союза писателей сдал свой отчёт. Был уверен, что его миссия завершена. Однако, его вдруг неожиданно разбудили под утро. Подняли с постели, посадили в какую-то непонятную машину и привезли на одну из тех квартир, которую спецслужбы использовали для самых важных и нужных разговоров. Когда он увидел там человека, который возглавлял их ленинградское отделение, ему стало плохо. Он понял, что произошло что-то ужасное и навряд ли ему удастся выйти сухим из всей этой передраги. Первый же заданный ему вопрос вверг его в состояние ступора. Вопрос был более, чем идиотский.

– Кто такие Ёж и Лиса? Это чьи-то клички, прозвища? Этот Ёж как-то связано с Ежовым? Ну с тем наркомом, которого расстреляли. Или это кодовые имена людей, которых мы не знаем?

– Вообще-то лиса – есть лиса, а ёж – это и есть ёж. Хотя, погодите. Был такой древнегреческий поэт по имени Архилох. Он написал басню. Сама она не сохранилась. Но известно, что она называлась «Ёж и лиса». Из каких-то других источников мы знаем о том, что её сюжет был построен вокруг того, что лиса знает многое, а ёж – одно, но большое.

– И что означает этот ваш бред? Почему эта Мадам и её гость всё время вспоминают эту лису и этого ежа? И как это получилось, что они встретились ещё раз, а вы об этом даже не догадались? У вас перед носом они договорились о встрече, а вы это прошляпили. Сейчас принесут записи их ночных разговоров. Пока только первую часть. У Вас есть пара часов на то, чтобы разъяснить нам, каким образом эти странные животные оказались предметом обсуждения людей, столь далёких от животного мира. Потом продолжим наш разговор.

Действительно, очень скоро принесли пачку машинописных листов, на которых был отражён разговор, длившийся, оказывается, всю ночь. Видимо, беседа, которая состоялась между Мадам и Сэром, была записана посредством специального устройства. Потом эти записи слушали машинистки и печатали текст. При этом они, конечно же, не понима-

ли смысла каких-то заумных слов и в силу этого чудовищно искажали их. По мере того, как он читал эти листы, он мог всего лишь догадываться о том, что же обсуждали эти двое. Это вынуждало его вновь и вновь слушать эти записи. Он понимал, что не нужно предъявлять какие-то претензии к этим машинисткам. Ведь в их практике не было, да и не могло быть таких случаев, когда надо было бы печатать беседы интеллектуалов такого уровня.

Очень быстро он осознал, что ключом к пониманию всей этой беседы является то, что, оказывается, что Гость делил всех поэтов, писателей, и философов на две категории. Одни для него были ежами, а другие – лисами. Ежи пытались всё своё творчество подчинить одной единственной идее. Глобальной, но одной. Лисы же были многогранны. Идей у них было много, и в поле воздействия каждой из них они вовлекали всё то, что действительно волновало их. Про себя он отметил, что эта идея стоит того, чтобы взять её на вооружение. Очень интересный приём того, как популярно объяснить всем, в чём суть противостояния монизма и плюрализма. А ещё они говорили о том, есть и те, кто, являясь лисой, пытается выдать себя за ежа. Самым ярким примером этого Гость считал Льва Толстого. Будучи лисой, Толстой всю жизнь пытался представить себя как ежа.

А ещё в этой беседе была масса моментов, так или иначе связанных с понятием свободы. Гость говорил о двух понятиях – о позитивной и негативной свободе. И не переставал

поражаться тем извилистым маршрутам, по которым позитивная свобода может привести к тоталитаризму. И честно признавался, что он – ёж, а все его работы по истории идей так или иначе связаны с понятием свободы.

Представителю Союза писателей пришлось изрядно помучиться с этим материалом. Машинисткам было очень нелегко переносить на бумагу те термины и имена, которые были им абсолютно неизвестны. Даже когда он диктовал, стараясь медленно произносить неведомые им слова, они снова ошибались, мешая ему вовремя завершить столь непростую работу. Когда всё же весь этот нелёгкий труд был доведён до конца, ему стало очевидно, что весь текст нуждается в основательном редактировании. Ведь для того, чтобы не ошибиться в оценке этого разговора, важна была каждая деталь и мелочь.

Встреча, состоявшаяся спустя два часа, по существу, не внесла никакой ясности в суть вопроса. Ему поручили прослушать всю запись ещё и ещё раз. Пока с ежом и с лисой всё не прояснится. Но ничего, конечно же, так и не прояснилось. Да и не могло проясниться.

А ещё его мучили всё новыми и новыми вопросами.

– Кто такой этот Александр Сергеевич, которого они называют Лисой?

– Думаю, что это Пушкин.

– Но он же вроде умер.

– Да, умер.



– Как же он может им что-то рассказывать?

– Не знаю.

– А вот ещё. Какой-то Фёдор Михайлович. Он проходит у них как Ёж. Кто это?

– Мне кажется, что это Достоевский.

– Но он же тоже умер.

– Да.

– Нет, Вы просто издеваетесь над нами. Что это за речь Ежа о Лисе?

– Видимо, это речь Достоевского о Пушкине.

– Всё-таки совершенно непонятно, что у нас с вами здесь происходит. Бардак. То ли вы идиот, то ли нас за идиотов держите.

Тайна ежа и лисы так и осталась неразгаданной для работников госбезопасности. Правда, пройдёт ещё несколько лет, и Сэр опубликует в Великобритании небольшую книжицу, назвав её именно так: «Ёж и лиса». Однако, она так и не попадёт в поле зрения советских спецслужб. В отчётах же им пришлось просто напросто умолчать и о еже, и о лисе. Громы и молний хватало и без этого. Спецслужбы, в конце концов, поняли лишь одно: невозможно другим объяснить то, что непонятно им самим.

Вот они и доложили только то, что поняли сами. А то, что Самый-Самый-Самый после того, как ему положили на стол отчёт об этой ленинградской встрече, ругался отборным площадным матом, сразу же обросло огромным количеством

сплетен. Верховный не стеснялся в выражениях и характеристиках. Говорят, что самым приличным из всего, что прозвучало в тот день, был вопрос:

– Ах, теперь она ещё и с шпионами встречается?!

Всё это было очень странно и непонятно. Все знали, что при желании Верховный может простить кого угодно. Равно, как и очаровать кого угодно. Яркий пример прощения – в тридцатые годы, после обращения Мадам к нему, буквально в тот же день, после его резолюции, были выпущены из тюрьмы её сын и её муж. Её слова и поручительства оказались вполне достаточно.

А о том, как он может очаровывать иностранцев, можно было писать тома. Достаточно привести лишь одну характеристику, данную Верховному, писателем с мировой славой. Тот просил всего лишь об интервью. Но получив его, всё же, дал характеристику Вождю народов, который ответил на множество его вопросов. Это были незабываемые слова:

– Я ожидал встретить безжалостного, жестокого диктатора и самодовольного грузина-горца... Все смутные слухи, все подозрения для меня перестали существовать навсегда после того, как я поговорил с ним... Я никогда не встречал человека более искреннего, порядочного и честного: в нём нет ничего тёмного и зловещего, и именно этими его качествами следует объяснить его огромную власть в России.

«Искреннему, порядочному и честному» всё доложили. В деталях и подробностях. О еже и лисе ничего не сказали.

Просто не знали, что сказать. После первой реакции с матом и перематом наступило затишье. Но тем временем наблюдение за Гостем продолжалось. Гром грянул уже после того, как тот уехал из страны. Было принято знаменитое постановление, которое ещё многие годы будут изучать в школах и вузах. Всё то, что произошло, включая все громкие обвинения этого безжалостного партийного документа, должно было просто уничтожить её. Раз и навсегда свести на нет её желание и потребность писать стихи. Но она выстояла. А стихи продолжали рождаться. Она иногда заставляла своих хороших знакомых заучивать их наизусть. На всякий случай. Ведь она прекрасно понимала, что из её жизни нельзя было исключить возможность обыска и изъятия рукописей.

\*\*\*

После той памятной ночи они ещё не раз встречались. Все дальнейшие их встречи так же будут находиться в центре внимания спецслужб. Встречи тех, кого в отчётах на Лубянку называли «Мадам» и «Сэр». Её ещё иногда называли «королевой-бродягой». Но если она и была королевой, то всё это было в том воображаемом поэтическом мире, который не имел ничего общего с реальностью. А бродягой же она была потому, что у неё, фактически, уже много лет не было своего угла.

Уйдя от мужа, она потом уже никогда не претендовала на то, что где-то в огромном пространстве этого прекрасного

города у неё может найтись своё собственное жилище. Вот и ютилась она до конца своей жизни в каких-то коммунальных квартирах на птичьих правах. А ещё её называли Леди. Этим может быть хотели продемонстрировать всю степень её отчуждённости от рабоче-крестьянского тандема, успешно строящего коммунизм. Вопреки всем установкам и теориям тех, кто когда-то создавал это учение. Она прекрасно знала о существовании всех этих, слегка обидных прозвищ, но никогда и никак не выражала своего отношения к ним. Ей было абсолютно всё равно.

Неравнодушна она была лишь к тому факту, что, наконец-таки, встретила человека, который станет на многие годы её воображаемым собеседником и героем её стихов. Но всё это будет потом. А пока же реальностью был всего лишь то, что встретились две неординарные личности и очень-очень-очень долго беседовали. Спустя десятки лет их разговоры обростут таким количеством домыслов, как со стороны посторонних, так и участников этих встреч, что докопаться до того, что же на самом деле происходило в этом флигеле Фонтанного дворца Шереметьевых, будет просто невозможно. Тем не менее, даже спецслужбы отметили так удививший их факт фантастического доверия и беспредельной симпатии Мадам и Сэра друг к другу.

\*\*\*

В первый день он ушёл от неё очень поздно. Было уже

утро. Множество людей не раз будут спрашивать и у него, и у неё о том, была ли у них близость в эту ночь. Надо было хорошо знать его и её, чтобы осмелиться задать этот вопрос. У них была разница в двадцать лет. Физических лет. Но все прекрасно понимали, что у этой женщины, с почти уже потухшими глазами, была девичья душа. О его же обаянии и магнетизме его личности ходили легенды. В их диалогах было затронуто множество вопросов об их личной жизни. Спустя годы он признается:

– Я отвечал ей с исчерпывающей полнотой. Так, как будто она располагала неоспоримым правом знать обо мне всё.

Само это признание, фактически, означает, что огромной притягательной силе таланта никто и ничто не может противостоять. Любые крепости сдаются без боя и единого выстрела. Так было и в этом случае. И, наверное, трудно найти в каком-либо языке слово или выражение, характеризующее те чувства, под власть которых попали эти двое. Можно говорить о духовном слиянии. Можно говорить о душах, настроенных на одну и ту же волну. Можно отмечать просто факт родства и единения двух тонких натур. Многое, что можно сказать. Но всё это будет неспособно передать всю суть того, что происходило во флигеле этого дворца Шереметьевых. Что-то странное и непонятное. Но безусловно прекрасное по своей внутренней энергетике и необъяснимой магии всего происходящего.

А потом она ещё задавала вопросы о судьбе своих старых

друзей, которые эмигрировали из России. Он отвечал. Рассказывал всё, что знал. Иногда это знание обжигало. А порой утешало. Разная и всякая была эта информация. Временами даже очень и очень неожиданная. Она поневоле вспоминала те далёкие двадцатые, когда к ней многие заходили проститься.

– Уезжаете? Кланяйтесь от меня Парижу.

– А Вы, не собираетесь уезжать?

– Нет. Я из России не уеду.

– Но ведь жить всё труднее?

– Да, всё труднее.

– Может стать совсем непереносимо.

– Что же делать?

– Не уедете?

– Не уеду.

А потом она будет говорить о тех, кто всё же уехал в те страшные годы:

– Те, кто уехал, спасли свою жизнь, может быть, имущество, но совершили преступление перед Россией.

Все они обижались на неё за столь резкие высказывания. Она же просто говорила то, что думала. Даже спустя годы не отрекалась от своей решимости в том, что им всем надо было остаться в России и именно здесь встретить свою судьбу, какой бы тяжёлой она ни была. Но после тех, кто уехал добровольно, сделав свой осознанный выбор, появились и те, кого заставили уехать. Ведь потом был так называемый «фило-

софский пароход». Собственно говоря, это был даже не один пароход. Минимум пять рейсов доставили из Петрограда в немецкий порт известных деятелей науки и культуры вместе с их семьями. Это была целая компания борьбы с инакомыслием. Такие же пароходы отправлялись и из Одессы, и из Севастополя. А ещё были и поезда, которые также направлялись в Германию. Всем тем, кого высылали, разрешалось взять с собой одно зимнее и одно демисезонное пальто, один костюм, две смены белья, две рубашки, две пары носок или чулок. Золотые вещи, драгоценности и деньги к вывозу были запрещены. Всё было прописано предельно чётко и ясно. И за соблюдением этих предписаний чрезвычайно зорко следили.

Было немало тех, кто видел во всём этом проявление особого милосердия новой власти. Это был так называемый гуманизм по-большевистски. Постановка вопроса была предельно проста. Власть её чётко озвучила:

– Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно.

Словом, всё было так, как и должно было быть. От французского аналога всё это отличалось лишь отсутствием гильотины. Революции не нужны были ни историки, ни философы, ни литераторы. Согласно убеждениям тех, кто правил страной, высылаемые люди были абсолютно бесполезны для великого проекта построения коммунизма в отдельно взятой стране. Она лично знала многих из тех, кого высылали.

Университеты очистили от профессуры, которая имела своё независимое мнение и самостоятельное суждение о событиях прошлого и настоящего.

Власть прекрасно знала, что эти люди не вели какой-либо агитации против Советской власти. Все они представляли собой яркий образец личностей, хорошо понимающих, что такое политическое или культурное кредо и в чём заключается истинная образованность. Отлучить их от процесса преподавания по каким-то формальным критериям было просто невозможно. Но власть прекрасно осознавала и то, что если они останутся в университетах, то неизбежно будут плодить себе подобных. А этого она допустить не могла. Она понимала, что когда таких людей будет слишком много, то будет пройдена некая точка невозврата и бороться со всем этим будет просто уже невозможно.

Но и это была далеко не последняя попытка избавиться от инакомыслящих. Потом, спустя годы, мало кто уже будет помнить о том, что сразу после убийства Кирова были составлены списки тех, кого сочли недостойными того, чтобы жить в этом прекрасном городе. Высылали их вместе с семьями. В трёхдневный срок осуществили изгнание из города всё ещё остававшихся здесь дворян, интеллигенции, коренных петербуржцев. Она была на этом вокзале среди провожающих. Среди всего этого ужаса она лишь растерянно улыбалась и говорила:

– Я никогда и не думала, что лично знакома с таким ко-



личеством дворян.

Возвращаясь с этих трагических проводов, она размышляла о том, что всё же есть на свете преступления без наказания и мук совести. Перед ней как бы открылась та бездна вседозволенности, которую могла себе позволить новая власть. Это были испытания пострашнее шекспировских страстей.

А ещё это была история целого поколения, прошедшего весь путь от так называемой первой русской революции до установления диктатуры победившего пролетариата. И поневоле, конечно же, всплывал вопрос о том, как велика вина интеллектуальной элиты страны, так или иначе содействовавшей тому, что страна оказалась погружённой сполна в трагедию отдельных личностей, целых семей и фантастически талантливой элиты великого народа. Многое она тогда передумала. Но не могла придти к чему-то, что могло бы что-то объяснить или оправдать. Просто плакала.

Рассказывая всё это ему, она вспоминала и то, что потом, в те же двадцатые, про неё писали, что она превратилась в ужасный скелет, одетый в лохмотья. Но всё же продолжала писать потрясающие всех стихи. Несмотря на стужу, голод и болезни. А ещё этот скелет имел мужество приходить к людям, которые помнили её такой изысканной и прекрасной, и опять-таки читать им свои стихи. Странно, но именно такие чтения способствовали тому, что уничтоженные ею в период обысков и гонений какие-то стихи всё же иногда возвраща-

лись к ней. Возвращались лишь потому, что кто-то наизусть запомнил эти столь поразившие и удивившие его строки.

Он иногда прерывал её. Пытался что-то объяснить.

То ли ей, то ли себе самому.

– Вы знаете, что был такой фанатик – большевик, который подошёл к Фёдору Шаляпину и сказал:

– Вас надо расстрелять!

– За что?

– За талант. Я вчера слушал Вас в опере. Плакал и хлопал Вам. Все хлопали. Я только тогда понял, насколько же Вы опасны. Ведь талант уничтожает саму идею равенства. Как же мы можем быть равны, если Вы заставляете людей рыдать и рукоплескать Вам, а я не могу. Нет, выходит, равенства-то. Вот его и надо восстановить. Расстрелять Вас. И всё. Равенство будет обеспечено.

Теперь уже настала её очередь произнести:

– Какой ужас!

А потом ещё она вспоминала обрывки каких-то диалогов и разговоров из своего прошлого.

– Девушка, вы простужены? Вы так сильно кашляете.

– Это не простуда. Это – чахотка.

Всё же она нашла в себе силы поведать ему о своих сёстрах, умерших от чахотки. О брате, наложившем на себя руки. О матери и отце. О судьбе всей своей семьи. О том, какой она была влюбчивой особой в юности. О многом рассказала. Без утайки и умолчаний. Как на духу. Так, наверное, можно

говорить с духовником. А его-то у неё и не было никогда. Ну, просто так уж сложилось.

Говорила она и о том, чего ей стоило не выдать себя, услышав тот странный разговор в типографии. Там почему-то были уверены, что тираж её книги определён неправильно.

– Такой тираж раскупят за полчаса. Надо делать огромный тираж и продавать эту книгу в каждой мелочной лавке.

– Почему?

– А для того, чтобы каждая женщина, желающая купить что-то по хозяйству, могла купить и эту книгу. И прожить потом, не расставаясь с этой книгой, всю оставшуюся жизнь. Ведь жить с этими стихами женщине намного легче, чем жить без них.

Вот и сегодня она вновь и вновь читала стихи. А ещё она даже ухитрилась накормить своего гостя, извиняясь за скудость угощения. А оно состояло всего лишь из блюда варёной картошки. В послеблокадном Ленинграде, где хлеб всё ещё распределяли по карточкам, это было царское угощение. Вот таковы уж оказались контрасты ленинградской командировки её Гостя. Контрасты, которые трудно было понять и постичь. Тут есть от чего потерять голову: один из его окружения покупает чёрную икру и не знает, где её хранить, а другие как норму воспринимают ужин, состоящий из одной лишь картошки.

По мере того, как она читала стихи, он просил разрешения на то, чтобы записать те или иные строчки. Ответом ему

было категорическое «нет». Даже спустя много лет он не забудет отметить и то, что имело немаловажное значение и для него, и для неё.

– Наша беседа порой затрагивала интимные детали и её жизни, и моей. Мы отвлекались от литературы и искусства. Может быть, потому она и затянулась вплоть до утра следующего дня.

А ещё потом он много раз будет произносить одну и ту же фразу, отвечая на множество чрезвычайно неделикатных вопросов:

– Я не прикоснулся к ней даже пальцем. Нас всё время разделял стол. Я даже не осмелился поцеловать её руку.

Ему было очень трудно объяснить всей этой журналистской братии, что он попал в Ленинград на истинное пиршество духа. Здесь его угощали самыми изысканными блюдами её поэтической кухни. Самым поразительным в их разъяснениях будет то, что они ни разу не коснутся того вопроса, что их разделяла пропасть в двадцать лет. В отличие от совсем необразованных людей, пристающих к ним с этими нелепыми вопросами, они прекрасно помнили историю любовницы Достоевского, бросившей его и вышедшей замуж за замечательного философа, который был младше её на те же двадцать лет.

Но их забавляла не эта разница в возрасте, а то, что эта сударыня не считала ни Достоевского достойным писателем, ни своего мужа хорошим философом. Это могла себе позво-

лить лишь чрезвычайно неординарная женщина. Ушедшая, в конце концов, к анархистам. Им же не хотелось никуда и ни к кому уходить. Слишком важна была для них эта встреча. По многим причинам.

Может быть, все эти причины было трудно сразу же чётко сформулировать и осознать. Но за каждой из них стоял целый пласт истории литературы и истории жизни каждого из них. При этом было очень странно, что среди множества вопросов, которые они обсуждали, так и не прозвучало ни одного, касающегося такого парадокса, как «гений женского пола». А ведь именно этот феномен наложил отпечаток на всю её жизнь и на всё её творчество. А ещё она спрашивала его о том, что её всегда интересовало. Вопрос был прост:

– Неужели никто и никогда не думал о том, что её стихи положили конец эпохе мнимой наивности русских женщин?

Ответ был очевиден. Наверное, всё же нет. Это было всё-таки слишком необычно. Ребром же стоял абсолютно другой вопрос. Он был глобальным. И при всём своём величии он всегда оставался безответным. И заключался он в том: есть ли возможность для самовыражения гениального поэта, если этим поэтом является женщина?

Этот вопрос при этом включал в себя самую важную для неё дилемму. Она была убеждена, что есть всего лишь две возможности для решения проблемы поэта, появившегося на свет в женском облике. Всего два выхода. И ни один из них её никогда не устраивал. Первый был предельно прост –

погибнуть, исчезнуть, умереть. Разве возможно, в общем и в целом, существование такого феномена как женщина-творец, женщина-поэт, женщина-гений? Это однозначно и безоговорочно воспринималось обществом просто как нонсенс. Как явление противоестественное. Объявлялось просто, что такого не может быть. А если оно и есть, то должно исчезнуть. Не могло быть и речи о том, чтобы женщина могла вырасти в национального поэта и заговорить от имени своего народа.

Она всегда считала, что без тайны нет поэзии. И когда её спрашивали порой:

– Трудно или легко писать стихи?

Она всегда отвечала предельно искренне:

– Если кто-то их диктует, то тогда совсем легко. А когда никто не диктует, просто невозможно.

Она просто констатировала сам факт – ей диктовали. Да, да, да. Ей её стихи всегда диктовали. Она никак не называла это явление. Просто не могла назвать. Не любила говорить ни о вдохновении, ни о музе, ни о каких-то высших силах, которые обрекли её на то, чтобы выразить в своём творчестве всё целомудрие великого языка, психологическую осложнённость женского бытия и философский пафос эпохи. Но то, что стихи приходили неведомо как и неизвестно откуда, признавала как факт. Именно в эти минуты она чувствовала, что живёт. По-настоящему живёт, переводя все бушевающие её чувства, эмоции, мысли на чеканный язык

поэзии.

А ещё она была глубоко верующим человеком. Неистово верила в то, что Бог всё же уберёжёт её. Даже когда приносила тост за разорённый дом и просто констатировала факт того, что всё-таки Бог не спас. Именно из её православия проистекала вся её безграничная жертвенность. Для неё это была прежде всего готовность принять всё ниспосланное свыше всему её поколению и лично ей. И этот путь от «красавицы тринадцатого года», отражённой в полотнах русского авангарда, до осознания того, что она просто жертва, обречённая на страх и смертное одиночество, она прошла как свою личную Голгофу.

Ведь многие были уверены в том, что после расстрела мужа она наложит на себя руки. Её близким уже выражали соболезнование. Готовились некрологи, отражающие в себе весь её земной путь. Весть о том, что она уже покинула этот бранный мир, передавалась из уст в уста. Она нашла в себе мужество не сделать этого. Несмотря на весь тот ужас, в котором пребывала, она приняла единственно верное для неё решение – жить. Жить и до конца испить ту чашу горечи, боли и страданий, которую ей приготовила судьба. Но разве предполагала она, что после встречи с этим Гостем, горечи в этой чаше станет гораздо больше?

Второй путь был сложнее. И гораздо хуже. Женщине-гению следовало бы незамедлительно найти такого мужчину, который будет готов помочь ей. Ему бы пришлось пойти на

весьма оригинальную сделку с ней и вписать её творчество в собственный манифест представлений об искусстве. Только так можно было бы обеспечить выживание женского гения и победить этот воинствующий мужской шовинизм. Шовинизм, без утайки и стеснения заявляющий, что «бабам не место в искусстве».

Но кто его знает, может существовали ещё какие-то другие неведомые ей пути. Или те, о которых она догадывалась, но никак не могла снизойти до того, чтобы примерить эти чуждые ей одеяния на себя. Скажем, смириться с теми представлениями, в которых человек, занимающийся творчеством, всегда изначально асексуален. Согласиться с тем, что ролевые функции в таком случае изначально отрицают различия по полу. Нет, это был явно не её путь.

\*\*\*

Мадам и Сэр ещё несколько раз встречались, как бы договаривая то, что не успели обсудить. Содержание этих встреч порой ускользало от внимания спецслужб. Чаще всего они были вдвоём. Её вновь и вновь поражало его видение русской литературы. Она прекрасно понимала, что, по существу, такие взгляды были обусловлены тем, что он всю жизнь находился под сильным влиянием трёх великих культур: английской, еврейской и русской. Именно это и предопределяло его мировоззрение как философа. И в немалой степени способствовало тому, что во многих вопросах они изначально-



но находились на противоположных полюсах. Ей трудно было принять многие его идеи, хотя они и обсуждали их во всех подробностях.

А ещё она вновь и вновь читала ему много стихов. И гораздо большее их количество посвятила ему, когда он уехал. Он же до конца жизни будет сокрушаться о том, что он просто недостоин того пьедестала, который она воздвигла ему в своём творчестве. Но и гордиться всем этим, безусловно, будет. Равно как испытывать чувство вины за все те гонения, которые он поневоле навлёк на неё.

И всё-таки в одну из встреч прозвучит вопрос, который рано или поздно должен был потребовать своего ответа.

– Неужели в Вашей жизни Вам так и не встретился человек, который, совсем бы немножко, но всё же помог бы Вам состояться как поэту? Хотя бы в самом начале Вашего пути?

И тут она заговорила о своём первом муже. Он был безумно в неё влюблён. Много раз делал предложение и получал отказ. Был поражён, удивлён и всё же счастлив, когда она, наконец-то, согласилась выйти за него замуж. Он безусловно сумел стать тем мужем, о котором могла бы мечтать любая феминистка. С первого дня их семейной жизни он говорил о том, что очень бы хотел, чтобы она чувствовала себя независимой и вполне обеспеченной. Именно с этой целью он выдал ей самостоятельный вид на жительство. И положил на её счёт немалую сумму денег. По меркам и стандартам того времени, это было очень необычно. Женился и повёз в

Париж.

В Париже она всё повторяла, что «парижская живопись съела французскую поэзию». В те дни они сполна окунулись во всю эту чарующую атмосферу жизни парижской богемы. А потом многие, с кем они встречались в этом прекрасном городе, вспоминали эту бледную, темноволосую, очень стройную девушку с красивыми руками и бурбонским профилем. Они почему-то казались всем очень странной парой. Может быть, существующую между ними дисгармонию посторонние люди чувствовали острее, чем они сами. А потом всё же и они осознали это. И расстались.

Она поразила воображение одного художника, который в те дни был просто нищим, неприкаянным и никому не известным живописцем. Она случайно узнает о его посмертной славе тогда, когда он уже давно покинет этот мир. А тогда она воспринимала его просто как юношу, который просто без памяти влюбился в неё и создал шестнадцать её портретов. Потом он писал ей письма о том, что никак не может избавиться от своего чувства к ней. Уверял, что оно преследует его как наваждение. Но он не был одинок в своём восхищении. На очень многих людей в этих богемных кругах она произвела фантастическое впечатление. Муж страшно гордился этим. Знакомил с разными людьми. Заставлял читать стихи. А потом взял и уехал в Аддис-Абебу. И начал писать новый цикл своих стихов.

Она тоже погрузилась после его отъезда в мир поэзии.

Стихи пошли какой-то ровной волной. Именно тогда и были написаны многие знаменитые строки, обеспечившие ей громкую славу. Ей так легко писалось, пока муж был далеко и продолжал считать, что продолжительные периоды разлуки помогают поддерживать взаимную влюблённость. А потом были встречи в знаменитой Башне. Именно тогда и там ей были сказаны столь поразившие её слова о том, что она сама не знает, что же она делает. А ещё её представляли всем присутствующим как нового поэта, открывающего нам то, что осталось нераскрытым в тайниках души разных поэтов, которые писали стихи до неё. Муж вернулся. Устроил допрос на тему о том, писала ли она стихи или нет. Послушав лишь некоторые из них, он вынес свой приговор:

– Ты – поэт. Надо делать книгу.

И действительно, он помог опубликовать её первую книгу. А ещё он написал про неё, что благодаря ей ряд таких немых до сих пор существований, как женщины, наконец-таки, заговорили. Радовался тому, что женщины, разные и всякие, влюблённые и лукавые, мечтающие и восторженные, обрели в её поэзии, свой подлинный, убедительный, художественный язык. И голос.

– Говорят, что Вы никогда не умели выбирать мужчин. Извините, это не моё мнение. Но все мужчины в Вашей жизни писали стихи. Все считали, что их стихи были намного хуже Ваших. Их это, конечно же, раздражало. Мягко говоря.

– Кто знает? Ответ на всё это есть в моих стихах. Но я

знаю одно. Я никогда не смогу понять и простить какие-то мелочи, на которые другие люди порой не обращают внимания. Всего один пример. Представьте себе, что человек, ещё вчера говоривший тебе слова, от которых кружится голова, называющий тебя бессмертной и мистической, может войти в комнату и, обнаружив тебя с кем-то увлечённо обсуждающей высокие материи, вдруг наотмашь ударить словами:

– Иди почисти селёдку.

За всем этим стояло твёрдое убеждение:

– Знай своё место!

А место это определено раз и навсегда: кухня, постель и молельня. Напрасно сюда иногда приплетают детей. Для мужчины ребёнок всегда видится существом, который отбирает у него любовь, внимание и время любимой женщины. Ведь мужской эгоизм просто безграничен.

– Смешно? Нет. Просто больно и обидно. И наверное, банально. Мужской шовинизм он ведь всегда такой разный и всякий. Но самые отвратительные его стороны проявляются именно по отношению к той, кого мужчины выбирают себе в качестве спутницы жизни.

В беседах с ним она не забыла упомянуть никого из тех, кто своей рецензией, добрым словом или дружеской поддержкой помог всё-таки состояться ей как поэту. Ведь она так нуждалась в этом в первые годы своего становления. Говорила о том, что она не искала своего пути в поэзии. Практически, сразу, с первых шагов, она нашла ту правильную

ноту, ту тональность, ту поэтическую нишу, в которой оказалась столь естественной. Всё то, что она делала, невозможно было повторить кому-либо. Это было очевидно для всех. Точно также, как и понимание того, что ей невозможно было подражать.

Такова была реальность. Таково было её творчество. И по сути, и по содержанию. Никуда не спрятаться и не скрыться. Такой она и предстала перед ним: предельно обнажённая в своих чувствах, эмоциях и переживаниях. Нередко наша душа скрывается под гораздо большим количеством покровов, чем наше тело. Наверное, всё-таки именно с точки зрения такого сполна реализованного душевного стриптиза, эта встреча с Гостем была уникальным явлением в её жизни. Таков был изначальный настрой всех этих встреч: она не хотела ничего скрывать, прятать своё истинное «я», чем-то прикрываясь или защищаясь искусственной бронёй. Хотела предстать перед ним точно такой, какой она была.

\*\*\*

Приговор был вынесен ей практически сразу после того, как Сэр уехал. Уже набранную её новую книгу, конечно же, не напечатали. После его отъезда вокруг неё образовалась какая-то жуткая пустота. Потом она признавалась в том, что, по-существу, у неё отняли пространство и время. А затем появилось знаменитое постановление. Кто-то назовёт его актом вандализма тоталитарного государства. Кто-

то будет утверждать, что литература и причастные к ней люди оказались всего лишь жертвами в игре двух разведок и контрразведок. Будут и такие, которые будут упорствовать, считая, что влияние этих встреч на судьбы мира является чрезмерной переоценкой их значимости.

Вроде бы, формально постановление касалось деятельности журналов. Да и в самом тексте, видимо, для соблюдения гендерного баланса вместе с ней осудили и известного писателя. Ещё несколько человек были упомянуты в знаменитом докладе. Но почему-то центральной фигурой этого документа оказалась всё-таки она. Согласно тому, что было написано в этой официальной бумаге, она, наверное, была единственным поэтом в мире, которого публично обвинили в том, что он не до конца остался верен ни святости, ни блуду.

А ещё это постановление означало полный крах всех планов. Поэтических, материальных, чисто человеческих. Жить было не на что. Ведь в Советском государстве существовала система поощрения творческой интеллигенции в виде каких-то стипендий, пенсий, карточек или пайков. Причём, степень обилия или скудости этих щедрот определялось тем, насколько близко творчество конкретного человека к официальной идеологии. Конечно же, ей всегда доставались от всех этих благодеяний всего лишь крохи. Она ведь не была одной из тех, кто прославлял эту власть. Но уже после постановления её лишили даже этого. Из жалости друзья ей подбрасывали подстрочники стихов иностранных авторов.

Именно благодаря этому, поэзия экзотических стран обрела в её переводах звучание, неведомое ей на языках оригинала. Эти переводы помогли ей выжить. Не умереть с голоду.

До конца жизни она сокрушалась о том, что нашлись люди, которые поверили в то, что она является всего-навсего автором эротических стихов. Не религиозных, а эротических. Те, кто это утверждал, фактически, ничего не знали о её поэзии. Убогие переводы не давали возможности отделить истину от клеветы. Все поверили её клеветникам, а не её стихам. Эти поклёпы на неё коснулись и её творчества, и её личности. Она была оскорблена в самых искренних своих помыслах и чувствах. От всего этого было очень больно. Эта боль затмевала даже мысли о том, что её оставили без куска хлеба. Не в переносном, а в буквальном смысле этого слова.

Её Гость ухитрился дожить почти до ста лет и увидеть развал Советской империи. Его философские и политические взгляды всегда были в центре внимания на протяжении всего двадцатого века. У него был хваткий аналитический ум, позволяющий ему постигать суть любых событий. В его философских концепциях найдут своё отражение все те катаклизмы, что с таким неистовством потрясали мир в двадцатом веке. И всё его творчество будет столь же неординарным, как и его личность и прожитая им почти легендарная жизнь.

А ещё он всю жизнь гордился тем, что получил бессмертие в её поэзии. Как он считал, незаслуженно получил. И до конца своих дней он сохранит в себе безграничное бла-

гоговение перед этой великой женщиной, которая в пасмурный осенний день, в залитом дождём Ленинграде продемонстрировала ему, что машина тоталитаризма бессильна перед Словом. И впервые в противостоянии Тирана и Творца творчество было представлено женщиной. Это был великий урок. Урок Поэта. Урок женщины, пережившей столько боли и утрат, что даже её поэзия была не в силах сполна вместить их горечь.

А ещё он много раз, точно также как в дни их встреч, будет говорить о том, что её поэзия всесильна. Она всегда пробивалась и будет пробиваться сквозь, казалось бы, несокрушимый бетон запретов. Будет цвести. Буйным цветом будет цвести. Да, были годы, когда она молчала. Но разве поэтической мысли обязательно быть всегда высказанной? Молчание было для неё той страной, в которую она всегда могла сбежать. Сбежать, чтобы сохранить себя. Сбежать, чтобы вернуться. А вернувшись, уже вернуть всем нам всё то, что мы потеряли на собственных дорогах наших странствий и скитаний. И одарить всех нас сполна новыми стихами и новым видением того, что было, есть и что будет. Это был её вариант эмиграции. Внутренняя эмиграция. Физически она находилась в этой стране. Над её же духом никто не был властен. Даже она сама.

\*\*\*

Это знаменитое постановление отменят лишь перед са-



мом развалом Советского Союза. Время от времени, в каких-то обсуждениях, беседах и, вроде бы, обыденных разговорах будет звучать сакраментальная фраза:

– А ведь постановления ещё никто не отменял.

Сразу после этого постановления в зарубежной прессе появилось множество публикаций враждебного, критического и даже недоумённого характера. Говорили о политической подготовке к новой войне. Задавались вопросом о том, что же происходит? Неужели идёт борьба писателей против Советской власти? Странно, но практически не будет каких-либо серьёзных заявлений знаменитых западных интеллектуалов. Лишь великий русский философ пытался объяснить жителям её страны, что творчество – вещь чрезвычайно сложная и трудно его корректировать, принимая какие-то формальные решения. А ещё он писал о том, что никогда и никому не удастся воспитать нового человека по идеологическим лекалам коммунистического режима. Но кто же его слушал?

\*\*\*

С точки зрения спецслужб, место в котором она жила, было просто идеальным. Для того, чтобы попасть к ней, надо было не только сказать вахтёру куда и к кому ты идёшь, но и оставить свой паспорт. Паспорт возвращали уже при выходе на улицу. В силу того, что в основном здании Фонтанного дома располагалось какое-то официальное учреждение, такая система не вызывала каких-либо вопросов. Она же и обеспе-

чивала жёсткий контроль над всеми, кто осмеливался после столь сокрушительного осуждения партии и правительства, навещать опальную Леди. Она всё это вынесла как должное. Иногда, правда, задавала очень пафосно звучащие риторические вопросы, адресованные, фактически, в никуда:

– А ведь интересно, что же такого мог сделать, всеми нами столь любимый поэт, если бы ему довелось жить при советской власти?

А ещё она, правда, с изрядной долей сарказма, говорила о том, что поражается тому, как она, человек, столь далёкий от политики, «смогла спровоцировать» холодную войну. Ведь после её встреч с гостем прозвучала знаменитая фултоновская речь. Именно после этой речи, словосочетание «железный занавес» обрело права гражданства по обе стороны этого занавеса. Только после постановления она догадалась о том, что каждое её слово записывают. Она называла это устройство «звукоулавливателем». И стала его бояться. В доме теперь она произносила только какие-то обыденные дежурные слова, а всё остальное, адресованное её собеседникам, писала на бумаге.

Она научилась радоваться разным всяким мелочам. Гордилась тем, что её сын, наконец-то, защитил диссертацию. Когда на защите зачитывали биографическую справку, зал ахал и охал. Ахал, услышав, что его отцом является поэт, расстрелянный по таганцевскому делу. Охал, когда узнавал, кто его мать. А многие в зале вообще не могли закрыть рот,

когда слышали, что соискатель работает в сумасшедшем доме. Вернее, в библиотеке сумасшедшего дома. Они и не знали, что просто это было единственным местом, куда его согласились взять на работу.

А потом сына вновь арестовали. После его ареста был обыск. Именно тогда она начала жечь свои бумаги. А ещё она приходила к друзьям и знакомым, у которых хранились её рукописи, и приказывала сжечь их. Процесс сожжения нередко контролировала сама. Напрасно утверждают, что рукописи не горят. Её рукописи горели. Горели синим пламенем в буржуйках и каминах, в оцинкованных вёдрах и самодельных печках. Сгорали дотла, обеспечивая ей уверенность в том, что ничьи грязные руки не будут копаться в том, что составляло суть и смысл её жизни.

А потом ей весьма прозрачно намекнули, что если она напишет что-то прославляющее власть, то сможет облегчить участь сына. Она написала. Целый цикл стихотворений о победе. А сын всё ещё продолжал сидеть. Сначала в Лефортовской тюрьме. А потом его отправили в лагерь строгого режима. Осудили на десять лет за принадлежность к какой-то антисоветской группе.

Очевидно, что когда поэту надо написать нечто такое, к чему у него не лежит сердце, то ему очень трудно найти слова. Она писала эти хвалебные стихи, не забывая о том, что в истории литературы уже были попытки создать нечто, что могло бы понравиться Верховному. Не понрави-

лось. Всё дело было в том, что вдохновению невозможно приказать. А когда приказываешь, то оно жестоко мстит за то, что ты осмелился разговаривать с ним неподобающим образом. Она помнила о том, что когда-то Опального поэта не осудили за его эпиграмму, посвящённую кремлёвскому горцу. А вот за оду, написанную с целью восхваления Верховного, посадили в лагерь.

А ещё был яркий пример того, как один мастер от драматургии пытался написать и поставить пьесу, посвящённую юности вождя. Пьеса была просто бездарная. И Самый-Самый-Самый понял это раньше всех. Пьесу изъяли из репертуара уже в процессе репетиции. Драматурга не преследовали. Просто перестали замечать. И вся эта пьеса так и осталась скрытым упрёком всем тем, кто пытался угодить, но не смог. Упрёк же Верховного заключался всего лишь в том, что нельзя было так бездарно писать о том, кто очень хорошо знает, на что на самом деле способен твой талант. Драматургу же оставалось писать в стол и придумывать анекдоты на тему о том, почему его пьесы не ставят.

Одна известная парижская газета сразу после появления её стихов о мире, назвала её личной трагедией то, что она, тридцать три года борováшаяся за свободу своего творчества, наконец-то, сдалась на милость победителя. Она молча проглотила эту горькую пилюлю. Гораздо страшнее этого было осознание простого факта, что даже эта её уступка власти так и не помогла её сыну. Слабым утешением всё же явилось

то, что её восстановили в Союзе писателей. До конца жизни она будет вспоминать то, что всё же нашёлся литературовед, который сказал на этом знаменитом заседании о её восстановлении, что её стихи будут жить столько же, сколько будет жив язык, на котором они написаны. Это был всего лишь один слабый голос в рычащем потоке критики в её адрес. Но всё равно на душе от этого становилось тепло.

А ещё был курьёзный случай, когда какая-то делегация из Великобритании пожелала встретиться с ней. Ей задавались чёткие вопросы о том, насколько справедливым является это постановление. Она мужественно отвечала, что постановление правильное и что она с ним абсолютно согласна. Иностранцы её не поняли. Да и не могли понять. Просто все они были не в состоянии даже представить себе всё то, что могла бы сотворить власть с ней и её сыном, если бы она ответила иначе.

А сын её был искренне убеждён, что именно она является виновницей его трагической судьбы. Он писал в своих письмах, что если бы он был сыном простой бабы, то стал бы процветающим советским профессором. Таких в стране множество. И он был бы одним из них. А ещё он был уверен, что спасти его, доказывать его невиновность, пытаться вызволить его из лагеря – это её прямая обязанность. А пренебрежение этой обязанностью – просто преступление.

Конечно же, она ничего и никому не объясняла. Не рассказывала о том, каким оскорблениям она подвергалась в

прокуратуре и других официальных учреждениях. О том, чего ей стоило написать эти, правильные, с точки зрения власти, стихи. Какое она свершила немыслимое насилие над собой, выдавив их из себя, желая всего лишь помочь сыну.

Оказалось, что зря. Жертва была напрасной. Сына всё же так и не выпустили. Она не рассказывала ему о том, что самый главный писатель Советского Союза, направлял её письма в военную прокуратуру и указывал, что она ведёт себя как хороший советский гражданин и выступает с патриотическими стихами. Что хорошо было бы выпустить её сына, за которого она с таким энтузиазмом ручается. Никакой реакции так и не последовало. Было почему-то горько и обидно от того, что ничего из того, что она сделала, так и не помогло её сыну.

Она писала письма сыну. Но никогда не сообщала обо всех своих тщетных попытках добиться отмены его приговора. Была слишком горда для того, чтобы оправдываться. Даже перед ним. Сын же язвительно замечал, что так пишут отдыхающим на южном берегу Крыма. А потом сына отпустили. Отпустили уже после двадцатого съезда партии и разоблачения культа личности. И уже было абсолютно неважно, обращалась она куда-то или нет. Его просто выпустили тогда, когда началась массовая, рутинная, бюрократическая проверка законности осуждения тех, кто сидел в лагерях.

Именно тогда, когда выпустили сына, её таинственный

Гость снова приехал в Советский Союз. Лауреат позвонил и сообщил ей, что англичанин очень хотел бы увидеться с ней. Её ответ был однозначен.

– Моего сына только-только выпустили. Я боюсь. Боюсь рисковать и подвергать опасности тех, кто мне близок и дорог. Не могу встретиться. Это слишком опасно.

Гость всё понял. Ни на чём не настаивал. Так и уехал, не встретившись с ней. Но продолжал способствовать тому, чтобы её творчество не осталось вне внимания по ту сторону железного занавеса. Содействовал новым изданиям и новым рецензиям. И даже активно участвовал в процессе её выдвижения на очень престижную премию.

А потом наступило время, когда она стала болеть. Тяжело болеть. Подолгу лежала в больнице. Очень тяжело переживала то, что во время её затяжной болезни сын так ни разу и не навестил её.

– Бог с ним. Он больной человек. Ему там повредили душу.

\*\*\*

Третья и последняя встреча Мадам и Гостя пройдёт в Великобритании. Будет она достаточно формальной и холодной. Никаких душевных разговоров и встреч вдвоём. Она ему скажет лишь о том, что её безмерно удивило решение властей, давших разрешение на эту поездку. А ещё она достаточно отстранённо поблагодарит его за все те хлопоты,

которые она, сама не желая того, ему доставила. Этими словами она как бы подведёт некую черту и обозначит ту степень отчуждённости, которую Гость воспримет как должное. Даже то, что она побывает у него дома в гостях, не сможет растопить тот лёд, который уже прочно сковал их отношения.

Её изберут почётным доктором одного из самых уважаемых университетов мира. Она прекрасно будет осознавать, что вся эта поездка – это всего лишь заместительная терапия. Некая компенсация за то, что ей всё же не дали ту знаменитую премию, которую все литераторы считают самой главной наградой. Её представляли к ней. Гость и представлял. Но премии ей так и не дали. А дали её в тот год роману и романисту, о котором сегодня вспоминают лишь профессионалы-литераторы. Ну, значит, так и надо было.

Её имя всё-таки прозвучит в этом прекрасном зале, где, как правило, выступают со своими лекциями те, кто удостоился этой премии. Его произнесёт российский поэт уже тогда, когда она покинет этот бранный мир. Произнесёт наряду с именем Опального поэта, называя их своими предшественниками и людьми, которые, может быть, более, чем он, заслуживали того, чтобы получить эту премию. Этого она никогда уже не узнает.

Но в её памяти оставит глубокий след то, что всё-таки эту премию дали Лауреату. Не за стихи. За скандальный роман, который зарубежные спецслужбы будут печатать и бесплат-



но раздавать как один из инструментов борьбы с коммунизмом. Лауреат от премии откажется. Вернее, его заставят от неё отказаться. Получение им этой премии она тоже воспримет как норму. Отнесёт его в разряд тех событий, которые могут и должны происходить. Лауреат – он ведь и есть лауреат. Избранник судьбы. То обласканный ею, то оболганный и отвергнутый.

А ещё она напоследок съездит в свою любимую Италию. Получит там тоже какую-то премию и будет радоваться тому, что несмотря ни на что, она, оказывается, так и не забыла итальянский. И будет безмерно благодарна судьбе за то, что та дала ей возможность попрощаться с Парижем. И даже увидеть здесь человека, который когда-то был влюблён в неё и увековечил её образ в своём творчестве. Они вместе всё же вспомнят всё то, что когда-то про неё говорили. И вместе будут улыбаться тому, что в её жизни были люди, убеждённые в том, что с неё стоит сделать и леонардовский рисунок, и генсборовский портрет маслом, а лучше всего, поместить её в самом центральном месте мозаики. Именно такую мозаику и создал когда-то её друг. И опять же, во время всех этих встреч ей будет невыносимо больно смотреть в прошлое и осознавать, что жизнь всё-таки близится к своему финалу. Ничего уже нельзя было ни изменить, ни добавить.

После всего этого ей оставалось лишь спокойно умереть, осознавая, что последний круг её земной жизни окончательно замкнулся. Что и случилось. Но и это стало непростым

испытанием для всего официоза, включая писателей, литераторов, чиновников и представителей спецслужб. Её уже не было среди живых, но проблема того, как её нужно и можно воспринимать, всё ещё оставалась в повестке дня. Теперь они всего лишь пытались понять, где и как возможно будет её похоронить. Такая уж была у неё судьба. Судьба поэта, стремившегося к свободе в обществе, где эта свобода была самой непостижимой и недостижимой категорией.

Гость всё же посетит её могилу. Спустя годы. Тогда, когда это будет возможно. И скажет последнее прости той, что так поразила его воображение много лет тому назад в залитом дождём прекрасном городе. В городе, в котором она сумела стать таким же его символом, как дворцы и замки этого уникального творения Петра Великого.